

Д.И. Писарев

[Евгений Онегин]

Из статьи «Пушкин и Белинский. «Евгений Онегин»» (1865)

I

<...>

Прежде всего надо решить вопрос: что за человек сам Евгений Онегин? — Белинский определяет Онегина так: «Онегин — добрый малый, но при этом недюжинный человек. Он не годится в гении, не лезет в великие люди, но бездеятельность и пошлость жизни душат его; он даже не знает, чего ему надо, чего ему хочется; но он знает и очень хорошо знает, что ему не надо, что ему не хочется того, чем так довольна, так счастлива самолюбивая посредственность». Сам Пушкин относится к своему герою с уважением и с любовью.

Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий, охлажденный ум.
Я был озлоблен, он угрюм;
Страстей игру мы знали оба:
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар угас;
Обоих ожидала злоба
Слепой Фортуны и людей
На самом утре наших дней.

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней:
Тому уж нет очарований.
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызет.
Всё это часто придает
Большую прелесть разговору.
Сперва Онегина язык
Меня смущал; но я привык
К его язвительному спору,
И к шутке с желчью пополам,
И злости мрачных эпиграмм.

Как часто летнею порою,
Когда прозрачно и светло
Ночное небо над Невою
И вод веселое стекло
Не отражает лик Дианы,
Вспомня прежних лет романы,
Вспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, беспечны вновь,
Дыханьем ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!
Как в лес зеленый из тюрьмы
Перенесен колодник сонный,
Так уносились мы мечтой
К началу жизни молодой.

(Глава I. Строфы XLV, XLVI, XLVII)

В этом отрывке Пушкин постоянно употребляет такие эластические слова, которые сами по себе не имеют никакого определенного смысла и в которые вследствие этого каждый читатель может втиснуть какой угодно смысл. — Человек обладает резким, охлажденным умом, знает игру страстей; он жил, мыслил и чувствовал; в нем погас жар сердца; его томит жизнь; его ожидает злоба людей и слепой фортуны; — все эти слова могут быть приложены к какому-нибудь очень крупному человеку, к замечательному мыслителю, даже к историческому деятелю, который старался вразумить людей и которого не поняли, осмеяли или прокляли тупоумные современники. Обманутый хорошими эластическими словами, — теми словами, в которые он сам, мыслитель и деятель, привык вкладывать живую душу, — Белинский посмотрел на Онегина благосклонно и смело выдвинул его из бесчисленной толпы дюжинных личностей. Но мне кажется, что Белинский ошибся. Он поверил *словам* и забыл то обстоятельство, что люди очень часто произносят хорошие слова, не отдавая себе ясного отчета в их значении или по крайней мере придавая этим словам узкий, односторонний и нищенский смысл. В самом деле, попробуем задать себе вопросы: *чем* же охлажден ум Онегина? *Какую* игру страстей он испытал? *На что* тратил и истратил он жар своего сердца? *Что* подразумевает он под словом *жизнь*, когда он говорит себе и другим, что жизнь томит его? *Что* значит, на языке Пушкина и Онегина, *жить, мыслить и чувствовать?*

Ответа на все эти вопросы мы должны искать в описании тех занятий, которым предавался Онегин с самой ранней молодости и которые, наконец, вогнали его в хандру. — В первой главе, начиная с XV до XXXVII строфы, Пушкин описывает целый день Онегина, с той минуты, когда он просыпается утром, до той минуты, когда он ложится спать, тоже утром. Лежа еще в постели, Онегин получает три приглашения на вечер; он одевается и в утреннем уборе едет на бульвар и гуляет там до тех пор,

Пока недремлющий брежет
Не прозвонит ему обед.

Он едет обедать в ресторан Талона, и так как дело происходит зимою, то при сем удобном случае его бобровый воротник серебрится морозной пылью; и это достопамятное обстоятельство дает Белинскому повод заметить, что Пушкин обладает удивительною способностью «делать поэтическими самые прозаические предметы».

Если бы Белинский дожил до наших времен, то он принужден был бы сознаться, что некоторые художники далеко превзошли великого Пушкина даже в этой удивительной и специально художественной способности. Наши великие живописцы, господа Зарянка и Тютрюмов, воспевают бобровые воротники красками, и воспевают их так неподражаемо хорошо, что каждый отдельный волосок превращается в поэтическую картину и в перл создания. Увидев великие произведения этих великих живописцев, Белинский был бы поставлен в трагическую альтернативу: ему пришлось бы или преклониться перед творческим величием господ Зарянки и Тютрюмова, или отречься от тех эстетических понятий, которые видят заслугу поэта в его удивительной способности воспевать бобровые воротники.

Воспев бобровый воротник, Пушкин воспекает все кушанья того обеда, которым занимается Онегин у Талона. Обед недурен: тут появляются окровавленный ростбиф, трюфли, которые Пушкин называет почему-то роскошью юных лет, нетленный пирог Страсбурга, живой лимбургский сыр, золотой ананас и котлеты, очень горячие, очень жирные и возбуждающие жажду, которая утоляется шампанским. В каком порядке эти поэтические предметы следуют один за другим, — этого Пушкин нам, к сожалению, не объясняет, и прямая обязанность наших антиквариев и библиофилов состоит в том, чтобы пополнить этот важный пробел посредством тщательных исследований.

Когда обед еще не закончен, когда горячий жир котлет еще недостаточно залит волнами шампанского (какого именно шампанского? — это тоже весьма интересный

вопрос для усердных комментаторов), звон брегета доносит обедающим, что начался новый балет.

Как злой законодатель театра, как непостоянный обожатель очаровательных актрис (об актрисах, разумеется, нечего напоминать комментаторам; они, разумеется, всех их знают по имени, по отчеству, по фамилии/и по самым подробным формулярным спискам) и как почетный гражданин кулис, Онегин летит в балет. (Здесь я с ужасом вспоминаю, что мы решительно не знаем, какой масти была лошадь Онегина и что эту великую тайну, по всей вероятности, не раскроют нам никакие исследования комментаторов.) Войдя в театральную залу, Онегин начинает обнаруживать охлажденность своего ума; окинув взором все ярусы, он, по словам Пушкина, все видел и остался ужасно недоволен лицами и убором; потом, раскланявшись с мужчинами, взглянул на сцену в большом рассеянье, потом даже отворотился и зевнул и молвил:

Всех пора на смену;
Балеты долго я терпел,
Но и Дидло мне надоел

Приведя это суровое антибалетное восклицание разочарованного Онегина, Пушкин сам почувствовал, что он ставит своего героя в довольно смешное положение, потому что люди, действительно обладающие резким и охлажденным умом, не станут тратить своей иронии на отрицание балетмейстера Дидло и дамских уборов. Почувствовав смешное положение Онегина, Пушкин приделал к XXI строфе следующее юмористическое примечание: «Черта охлажденного чувства, достойная Чайльд-Гарольда. Балеты г. Дидло исполнены живости воображения и прелести необыкновенной. Один из наших романтических писателей находил в них гораздо более поэзии, нежели во всей французской литературе». Этим примечанием Пушкин, очевидно, хотел показать, что он сам подтрунивает над будадою Онегина и не принимает этой будады за симптом серьезной разочарованности. Но примечание это производит очень слабое впечатление на внимательного и недоверчивого читателя; такой читатель видит, что, кроме забавных будад, резкий и охлажденный ум Онегина не порождает ровно ничего. В XXI строфе I главы Онегин отрицал балеты Дидло, а в IV и в V строфах III главы Онегин отрицает брусничную воду, красоту Ольги Лариной, глупую луну и глупый небосклон. И этими немногими, весьма невинными выходками исчерпывается до самого дна та злость мрачных эпиграмм, которою угрожал нам Пушкин в XLVI строфе I главы. Злее и мрачнее этих эпиграмм мы от Онегина ничего и не услышим до самого конца романа. Если все эпиграммы Онегина были так же мрачны и так же злы, то немудрено, что Пушкин привык к ним очень скоро.

Продолжая проявлять свою разочарованность, Онегин уезжает из театра в то время, когда амуры, черти и змеи еще скачут и шумят на сцене. Не интересуясь их скаканием и шумением, он едет домой, переодевается для бала и отправляется танцевать до утра. В то время, когда Онегин переодевается, Пушкин превращает в поэтические предметы те гребенки, пилочки, ножницы и щетки, которые украшают кабинет «философа в осьмнадцать лет». Философом же юный Онегин оказался, вероятно, именно потому, что у него очень много гребенок, пилочек, ножниц и щеток; но и сам Пушкин по части философии не желает отставать от Онегина и вследствие этого высказывает весьма категорически ту философскую истину, любезную Павлу Кирсанову, что можно быть дельным человеком и думать о красоте ногтей. Эту великую истину Пушкин поддерживает другою истинною, еще более великою. «К чему, — спрашивает он, — бесплодно спорить с веком?» Так как XIX век, очевидно, направляет все свои усилия к тому, чтобы превратить ногти в поэтические предметы, то, разумеется, относиться равнодушно к красоте ногтей значит быть ретроградом и обскурантом... «Обычай, — продолжает философ Пушкин, — деспот меж людей». Ну, разумеется, и притом обычай всегда останется деспотом *меж* таких философов, как Онегин и Пушкин. К сожалению, число таких драгоценных мыслителей понемногу начинает убывать. — Пушкин насаждал бы нам еще много философских истин,

но Онегин уже оделся, уподобился ветреной Венере, надевшей мужской наряд, и в ямской карете поскакал *стремглав* (вероятно, вследствие охлажденности ума) на бал. Пушкин, разумеется, спешит за ним, и поток философских истин на несколько времени иссякает. — На бале мы совершенно теряем из виду Онегина и решительно не знаем, в чем выразилось его несомненное превосходство над презренною толпою. Введя своего героя в бальную залу, Пушкин весь предается воспоминаниям о ножках и рассказывает с неподражаемым увлечением, как он однажды завидовал волнам, «бегущим бурной чередою с любовью лечь к ее ногам». <...> Объяснив читателям, что милые ноги привлекали его сильнее и даже несравненно сильнее, чем уста, ланиты и перси, Пушкин вспоминает о своем Онегине, везет его с бала домой и укладывает в постель в то время, когда рабочий Петербург уже начинает просыпаться. Когда Онегин встает от сна, тогда начинается опять та же история: гулянье, обед, театр, переодеванье, бал и сон.

II

Итак, Онегин ест, пьет, критикует балеты, танцует целые ночи напролет — словом, ведет очень веселую жизнь. Преобладающим интересом в этой веселой жизни является «наука страсти нежной», которою Онегин занимается с величайшим усердием и с блестящим успехом. «Но был ли счастлив мой Евгений?» — спрашивает Пушкин. Оказывается, что Евгений не был счастлив, и из этого последнего обстоятельства Пушкин выводит заключение, что Евгений стоял выше пошлой, презренной и самодовольной толпы. С этим заключением соглашается, как мы видели выше, Белинский; но я, к крайнему моему сожалению, принужден здесь противоречить как нашему величайшему поэту, так и нашему величайшему критику. Скука Онегина не имеет ничего общего с недовольством жизнью; в этой скуке нельзя подметить даже инстинктивного протеста против тех неудобных форм и отношений, с которыми мирится и уживается, по привычке и по силе инерции, пассивное большинство. Эта скука есть не что иное, как простое физиологическое последствие очень беспорядочной жизни. Эта скука есть видоизменение того чувства, которое немцы называют *Katzenjammer*¹ и которое обыкновенно посещает каждого кутилу на другой день после хорошей попойки. Человек так устроен от природы, что он не может постоянно обжираться, упиваться и изучать «науку страсти нежной». Самый крепкий организм надламывается или по крайней мере истаскивается и утомляется, когда он чересчур роскошно пользуется разнообразными дарами природы. Всякое наслаждение притупляет в большей или в меньшей степени, на более или менее долгое время, ту способность нашего организма, которая воспринимает это наслаждение. Если отдельные приемы наслаждения быстро следуют один за другим и если эти приемы очень сильны, то наша способность наслаждаться совершенно притупляется, и мы говорим, что нам надоело и опротивело то или другое приятное занятие. Это притупление одной из наших способностей совершается помимо всяких умственных соображений и совершенно независимо от каких бы то ни было критических взглядов на то занятие, которое мы прежде любили и к которому мы потом охладели.

Представьте себе, что вы очень любите какое-нибудь питательное и здоровое кушанье, например пудинг; в один прекрасный день это любимое ваше кушанье изготовлено особенно хорошо; вы объедаетесь им и сильно расстраиваете себе желудок; после этого легко может случиться, что вы получите к пудингу непобедимое отвращение, которое, разумеется, будет совершенно независимо от ваших теоретических понятий о пудинге. Вы знаете очень хорошо весь состав пудинга; вы знаете, что в него не кладут никаких ядовитых веществ; вы видите, что другие люди при вас едят его с удовольствием, и при всем том вам, прежнему любителю пудинга, это кушанье не идет в горло.

¹ Похмелье.

Отношения Онегина к различным удовольствиям светской жизни похожи, как две капли воды, на ваши отношения к пудингу. Онегин всем объелся, и его от всего тошнит. Если не всех светских людей тошнит так, как Онегина, то это происходит единственно оттого, что не всем удастся объесться. Как специалист в «науке нежной страсти», Онегин, разумеется, стоит выше многих своих сверстников. Он красив собою, ловок, *il a la langue Men pendue*¹, как говорят французы, и в этих особенностях его личности заключается вся тайна его разочарованности и его мнимого превосходства над презренною толпою. Другие светские люди, ведущие вместе с Онегиным пустую и веселую жизнь, совсем не одерживают побед над светскими женщинами или одерживают этих побед очень немного, так что не успевают притупить своего чувства с этой стороны. «Наука нежной страсти» продолжает быть для них привлекательною, потому что они встречаются в ней серьезные трудности, которые они желают и надеются преодолеть. Для Онегина эти трудности не существуют; он наслаждается тем, к чему другие только стремятся, и вследствие неумеренного наслаждения он притупляет в себе вкус и влечение ко всему, что составляет содержание светской жизни.

До сих пор превосходство Онегина заключается только в том, что он лучше многих других умел «тревожить сердца кокеток записных». Легко может быть, что Пушкин любит и уважает своего героя именно за эту особенность его личности. Но кто имеет понятие о Белинском, тот, конечно, знает, что Белинский не мог бы относиться к Онегину с сочувствием, если бы видел в нем только искусного соблазнителя записных кокеток.

Итак, посмотрим, что будет дальше; посмотрим, за какое средство ухватится объевшийся Онегин, чтобы победить свой Katzenjammer и чтобы снова помириться с жизнью. Когда человеку надоело наслаждение и когда этот человек в то же время чувствует себя молодым и сильным, тогда он непременно начинает искать себе труда. Для него наступает пора тяжелого раздумья; он всматривается в самого себя, всматривается в общество; он взвешивает качество и количество своих собственных сил; он оценивает свойства тех препятствий, с которыми ему придется бороться, и тех общественных потребностей, которые стоят на очереди и ожидают себе удовлетворения. Наконец из его раздумья выходит какое-нибудь решение, и он начинает действовать; жизнь ломает по-своему его теоретические выкладки; жизнь старается обезличить его самого и переработать по общей, казенной мерке весь строй его убеждений; он упорно борется за свою умственную и нравственную самостоятельность, и в этой неизбежной борьбе обнаруживаются размеры его личных сил. Когда человек прошел через эту школу размышления и житейской борьбы, тогда мы имеем возможность поставить вопрос: возвышается ли этот человек над безличною и пассивною массою или не возвышается? Но пока человек не побывал в этой переделке, до тех пор он в умственном и в нравственном отношении составляет для нас такую же неизвестную величину, какую мы видим, например, в грудном ребенке. Если же человек, утомленный наслаждением, не умеет даже попасть в школу раздумья и житейской борьбы, то мы тут уже прямо можем сказать, что этот эмбрион никогда не сделается мыслящим существом и, следовательно, никогда не будет иметь законного основания смотреть с презрением на пассивную массу. К числу этих вечных и безнадежных эмбрионов принадлежит и Онегин.

Отступник бурных наслаждений,
Онегин дома заперся,
Зевая за перо взялся, —
Хотел писать; но труд упорный
Ему был тошен; ничего
Не вышло из пера его.

(Глава I. Стрфа XLIII)

¹ У него язык хорошо подвешен (*франц.*).

Шляться в течение нескольких лет по ресторанам и по балетам, потом вдруг, ни с того ни с сего, усесться за письменный стол и взять перо в руки с тем, чтобы сделаться писателем, — это фантазия по меньшей мере очень странная. Браться за перо, *зевая*, и в то же время ожидать, что перо напишет что-нибудь мало-мальски сносное, — это также нисколько не остроумно. Наконец, отвращение Онегина к упорному труду, отвращение, которое так откровенно признает сам Пушкин, составляет симптом очень печальный, по которому мы уже заранее имеем право предугадывать, что Онегин навсегда останется эмбрионом. Но не будем торопиться в произнесении окончательного приговора. Когда человек входит в новую фазу жизни, тогда он поневоле идет ощупью, берется за непривычное дело очень неискусно, переходит от одной ошибки к другой, испытывает множество неудач и только посредством этих ошибок и неудач выучивается понемногу работать над теми вопросами, которые настоятельно требуют от него разрешения.

Онегин увидал, что он не может быть писателем и что сделаться писателем гораздо труднее, чем пообедать у Талона. Эта крошечная частица житейской опытности, вынесенная им из первого столкновения с вопросом о труде, по-видимому не пропала для него даром. По крайней мере вторая попытка его оказывается гораздо благоразумнее первой.

И снова, преданный безделью,
Томясь душевной пустотой,
Уселся он с похвальной целью
Себе усвоить ум чужой.

(Строфа XLIV)

Значит, начал читать. Это придумано недурно. Но именно эта удачная, хотя и очень простая выдумка тотчас раскрывает перед нами ту истину, что Онегин — человек безнадежно пустой и совершенно ничтожный.

Отрядом книг уставил полку;
Читал, читал, а все без толку:
Там скука, там обман и бред;
В том совести, — в том смысла нет;
На всех различные вериги;
И устарела старина,
И старым бредит новизна:
Как женщин, он оставил книги
И полку, с пыльной их семьей,
Задержнул траурной тафтой.

(Строфа XLIV)

Если бы Онегин расправился так бойко с одними русскими книгами, то в словах поэта можно было бы видеть злую, но справедливую сатиру на нашу тогдашнюю вялую и ничтожную литературу. Но, к сожалению, мы знаем доподлинно, из других мест романа, что Онегин умел читать всякие книжки, и французские, и немецкие (Гердера), и английские (Гиббона и Байрона), и даже итальянские (Манзони). В его распоряжении находилась вся европейская литература XVIII века, а он сумел только задержать полку с книгами траурной тафтой. Пушкин, по-видимому, желал показать, что проницательный ум и неукротимый дух Онегина ничем не могут удовлетвориться и ищут такого совершенства, которого даже и на свете не бывает. Но показал он совсем не то. Он показал одно из двух: или то, что Онегин не умел себе выбрать хороших книг, или то, что Онегин не умел оценить и полюбить тех мыслителей, с которыми он познакомился. По всей вероятности, Онегина постигли обе эти неудачи; то есть и выбор книг был неудовлетворителен, и понимание было из рук вон плохо. Онегин, вероятно, накупил себе всякой всячины, начал глотать одну книгу за другою без цели, без системы, без руководящей идеи; почти ничего не понял, почти ничего не запомнил и бросил, наконец, это бестолковое чтение, убедивши себя в том, что он произошел всю человеческую науку, что все мыслители — дурачье и что всех их надо повесить на одну осину. Это отрицание, конечно, очень

отважно и очень беспощадно, но оно, кроме того, чрезвычайно смешно и для отрицаемых предметов совершенно безвредно. Когда человек отрицает решительно все, то это значит, что он не отрицает ровно ничего и что он даже ничего не знает и не понимает. Если этим легким делом сплошного отрицания занимается не ребенок, а взрослый человек, то можно даже смело утверждать, что этот бойкий господин одарен таким неподвижным и ленивым умом, который никогда не усвоит себе и не поймет ни одной дельной мысли. Онегин расправляется с книгами так, как он расправился выше с балетами Дидло и как он в III главе будет расправляться с глупою луною и с глупым небосклоном. Он произносит резкую фразу, которую доверчивые люди принимают за смелую мысль. Враждебное столкновение его с книгами составляет в его жизни последнюю попытку отыскать себе труд. После этой попытки Онегин и Пушкин окончательно убеждаются в том, что для высших натур не существует в жизни увлекательного труда и что чем человек умнее, тем больше он должен скучать. Сваливать таким образом всякую вину на роковые законы природы, конечно, очень удобно и даже лестно для тех людей, которые не привыкли и не умеют размышлять и которые, посредством этого сваливания, могут, без дальнейших хлопот, перечислить себя из тунеядцев в высшие натуры. У Пушкина особенно развита эта замашка выдумывать законы природы и ставить эти выдуманные законы как границу, за которую не может проникнуть никакое исследование. Спрашивается, например, отчего люди скучают? — На это можно отвечать: оттого, что они ничего не делают. — А отчего они ничего не делают? — Оттого, что за них работают другие люди. — А это отчего происходит? — На этот вопрос также можно отыскать ответ, но только, разумеется, тут придется въехать и в историю, и в политическую экономию, и в физиологию, и в опытную психологию.

Но у Пушкина дело не доходит даже до второго вопроса. У него сию минуту готов закон природы. Пушкинский Фауст говорит, например, Мефистофелю: «мне скучно, бес», а Мефистофель немедленно объясняет ему, что «таков вам положен предел» и что «вся тварь разумная скучает». И Фауст доверчиво и даже с некоторым ужасом выслушивает вздорную болтовню Мефистофеля, а потом, для развлечения, приказывает Мефистофелю утопить испанский трехмачтовый корабль, готовый пристать к берегам Голландии. Эта так называемая «Сцена из Фауста» составляет превосходный комментарий к «Евгению Онегину». В этой «сцене» демонизм, как понимает его Пушкин, доведен уже до последних границ нелепого и смешного. Тут уже для читателя становится ясно, что пушкинский Фауст — совсем не Фауст и совсем не высшая натура, а просто развеселый купеческий сынок, которому свойственно не топить трехмачтовые испанские корабли, а разрушать большие зеркала в русских увеселительных заведениях. Над Мефистофелем этот резвый юноша не имеет ни малейшей власти, но должность Мефистофеля исправляет при этом российском Фаусте толстый бумажник, наполненный кредитными билетами. Именно этот карманный Мефистофель и дает ему возможность бить зеркала для того, чтобы разнообразить жизнь и прогонять на несколько минут роковую скуку. Отнимите у российского Фауста бумажник — и он тотчас сделается тише воды, ниже травы, скромнее красной девушки. Вместе с вспышками демонической природы пропадет и роковая скука. Фауст пойдет в чернорабочие и затеряется в той серой толпе, которую он отважно давил своими рысаками во времена своего господства над карманным Мефистофелем.

По натуре своей Онегин чрезвычайно похож на Фауста, который в романе топит испанские корабли, а в жизни крушит русские зеркала. И демонизм Онегина также целиком сидит в его бумажнике. Как только бумажник опустеет, так Онегин тотчас пойдет в чиновники и превратится в Фамусова. И тогда самый опытный наблюдатель ни за что не отличит его от той толпы, которую он презирал на том основании, что он будто бы «жил и мыслил».

Итак, Онегин скучает не оттого, что он не находит себе разумной деятельности, и не оттого, что он — высшая натура, и не оттого, что «вся тварь разумная скучает», а просто оттого, что у него лежат в кармане шальные деньги, которые дают ему возможность много

есть, много пить, много заниматься «наукой нежной страсти» и корчить всякие гримасы, какие он только пожелает соорудить. Ум его ничем не охлажден, — он только совершенно нетронут и неразвит. *Игру страстей* он испытал настолько, насколько эта игра входит в «науку страсти нежной». О существовании других, более сильных страстей, — страстей, направленных к идее, он даже не имеет никакого понятия, подобно тому как не имеет о них понятия пушкинский Фауст. *Жар* своего *сердца* Онегин истратил на будуарные сцены и на маскарадные похождения. Если Онегин думает, что *жизнь томит* его, то он думает чистый вздор; кого жизнь действительно томит, тот не поскачет на почтовых за наследством в деревню умирающего дяди. *Жить*, на языке Онегина, значит гулять по бульвару, обедать у Талона, ездить в театры и на балы. *Мыслить* — значит критиковать балеты Дидло и ругать луну душой за то, что она очень кругла. *Чувствовать* — значит завидовать волнам, которые ложатся к ногам хорошенькой барыни. *Кто жил и мыслил* подобно Онегину, *тот*, разумеется, *не может не презирать людей*, живущих менее роскошно и мыслящих не столь оригинально. *Кто чувствовал* подобно Онегину, *того*, разумеется, *тревожит призрак невозвратимых дней*, то есть тех дней, когда случалось видеть вблизи ножки, ланиты, перси и разные другие интересные подробности женского тела. — Таким образом, я ответил на все вопросы, поставленные мною в первой главе, и у нас оказался тот неожиданный результат, что Онегин совсем не «дух отрицанья, дух сомненья», а просто коварный изменщик и жестокий тиран дамских сердец. Мы увидим ниже, что этот результат оправдывается всем дальнейшим ходом романа.

III

Пушкин подружился с Онегиным и признал за ним право презирать людей в то время, когда Онегин, постигнув суетность науки, задергивал траурной тафтой полку с книгами. Вслед за тем умер отец Онегина, и Евгений предоставил наследство кредиторам,

Большой потери в том не видя
Иль предузнав издалика
Кончину дяди-старика.

Действительно, дядя вскоре занемогает, и,

Прочтя печальное посланье,
Евгений тотчас на свиданье
Стремглав по почте поскакал
И уж заранее зевал,
Приготовляясь, денег ради,
На вздохи, скуку и обман.

О предстоящих занятиях с больным дядей Онегин размышлял так:

Но, боже мой, какая скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь.
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!

Все это очень естественно и изложено очень хорошими стихами, но все это, очевидно, совершенно уравнивает Онегина с самыми презренными людьми презренной толпы. Из-за чего суетятся, сгибаются в дугу, актерствуют и подличают самые презренные люди? Из-за чего Молчалин ходит на задних лапках перед Фамусовым и перед всеми его важными гостями? — Из-за презренного металла, которым поддерживается брэнное существование. А ради чего Онегин скачет *стремглав по почте* и готовится к хождению на задних лапках перед умирающим родственником? — *Денег ради*, —

отвечает Пушкин с свойственной ему откровенностью. Онегин унижается перед дядей, Молчалин унижается перед начальником; побудительная причина у обоих одна и та же. С какой же стати Пушкин дает Онегину право презирать толпу, в которой молчалинство составляет самую темную и грязную сторону? Если Онегину необходимо упражняться в презрении, то ему следовало бы начать с самого себя и даже кончить самим собою, то есть сосредоточить навсегда все свое презрение на собственной личности и оставить толпу в покое, потому что даже такой мелкий человек толпы, как Молчалин, все-таки стоит выше блестящего денди Онегина. Молчалин подличает потому, что в русской жизни господствует, как остроумно заметил Помяловский, своеобразный экономический закон, вследствие которого человек, дающий работу, считает себя благодетелем человека, получающего и выполняющего работу. Очень немногие отрасли труда освободились от господства этого своеобразного закона, и, разумеется, то поприще, на котором подвизается Молчалин, относится к числу не освободившихся отраслей. Подличая перед Фамусовым, Молчалин добивается только того, чтобы у него не отняли работы и чтобы ему платили за эту работу хорошие деньги. Разумна ли и полезна ли сама работа — за это Молчалин не отвечает, потому что не он ее выдумал. Дело Молчалива — трудиться, и он действительно трудится, и его начальник, Фамусов, сознается, что Молчалин — деловой человек. Когда же Онегин подличает перед дядей, тогда он ждет от дяди не работы и не задельной платы, а даровой подачи, что, конечно, несравненно унижительнее для человеческого достоинства. Онегину постыл упорный труд, и вследствие этого каждый человек, способный трудиться, имеет полное и разумное право смотреть на Онегина с презрением, как на вечного недоросля в умственном и в нравственном отношении. Получив наследство, Онегин улучшает положение мужиков:

Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил:
Мужик судьбу благословил.

Это, конечно, недурно со стороны Онегина. Но это доказывает только, во-первых, что Онегин не Плюшкин, и не Гарпагон, и не Скупой рыцарь; а во-вторых, что полученное наследство было достаточно велико. Легкий оброк, несмотря на всю свою легкость, все-таки давал Онегину полную возможность иметь в деревне «обед довольно прихотливый», пить с Ленским бордо и шампанское, а потом, после смерти Ленского, разъезжать в течение двух лет по России. Если бы наследство было менее значительно, то, по всей вероятности, мужику не пришлось бы благословлять судьбу, потому что Онегин вряд ли отказался бы от бордо, от странствований по России и от разных других удобств жизни, которые должны оплачиваться «легким оброком» или «старинною барщиною». Значит, отношения Онегина к мужикам украшают нашего героя только отрицательным достоинством, то есть спасают его от упрека в корыстолюбии.

Два дня ему казались новы
Уединенные поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихого ручья;
На третий роща, холм и поле
Его не занимали боле,
Потом уж наводили сон.

(Гл. I. Спр. LIV)

И, разумеется, хандра стала бегать за ним, «как тень иль верная жена». Многим — в том числе и Пушкину — эта способность скучать всегда и везде кажется привилегией сильных умов, не способных удовлетворяться тем, что составляет счастье обыкновенных людей. Пушкин здесь, как и везде, подметил и обрисовал самый факт совершенно верно; но чуть только дело доходит до объяснения представленного факта, Пушкин тотчас впадает в самые грубые ошибки. Действительно, человек, подобный Онегину, испорченный

до мозга костей систематическою праздною мысли, должен скучать постоянно; действительно, такой человек должен кидаться с жадностью на всякую новизну и должен охладевать к ней, как только успеет в нее взглядеться; все это совершенно верно, но все это доказывает не то, что он слишком много жил, мыслил и чувствовал, а, совсем напротив, то, что он вовсе не мыслил, вовсе не умеет мыслить и что все его чувства были всегда так же мелки и ничтожны, как чувства остроумного джентльмена, завидующего счастливому бревну, на которое оперлась чья-то хорошенькая ножка. В области мысли Онегин остался ребенком, несмотря на то, что он соблазнил многих женщин и прочитал много книжек. Онегин, как десятилетний ребенок, умеет только воспринимать впечатления и совсем не умеет их перерабатывать. Оттого он и нуждается в постоянном притоке свежих впечатлений; пока перед его глазами мелькают новые картинки, невиданные переливы красок, непривычные комбинации линий и теней, до тех пор он спокоен, не хмурится и не пищит. Ум его, по обыкновению, находится в бездействии; наш герой широко раскрывает глаза и через эти раскрытые форточки совершенно пассивно втягивает в себя впечатления окружающего мира; когда декорации быстро переменяются, тогда форточки работают исправно, и пассивное втягивание впечатлений мешает нашему герою оставаться наедине с самим собою; когда же передвижение декораций прекращается и когда вследствие этого бесцельное глазение становится невозможным, тогда хроническое бездействие ума выдвигается на первый план, Онегин остается наедине с своею умственною нищетою, и, разумеется, ощущение этой безнадежной нищеты погружает его в то психическое состояние, которое называется скукою, тоскою или хандрою. Все это нисколько не величественно и нимало не трогательно. — Постоянным собеседником и приятелем Онегина, скучающего в деревне, становится его молодой сосед,

По имени Владимир Ленский,
С душою прямо геттингенской,
Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник Канта и поэт.
Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч.

(Гл. II. Стр. VI)

Плоды учености этого господина были, по всей вероятности, никуда не годны, потому что этому господину было «без малого осьмнадцать лет»; а между тем он считал уже свое образование оконченным и помышлял только о том, чтобы поскорее жениться на Ольге Лариной, наплодить побольше детей и написать побольше стихотворений о романтических розах и о туманной дали. В чем заключались геттингенские свойства его души и в чем проявлялось его уважение к Канту, — это остается для нас вечною тайною. О его вольнолюбивых мечтах мы также ровно ничего не узнаем, потому что во время своих свиданий с Онегиным геттингенская душа только и делает, что тянет шампанское да врет эротические глупости. Неотъемлемою собственностью Ленского остаются, таким образом, длинные черные волосы, всегдашняя восторженность речи и пылкость духа с достаточною примесью странности. Все это вместе должно было делать его общество совершенно невыносимым для всякого мало-мальски серьезного и мыслящего человека; но Онегину эта недоучившаяся пифия, разумеется, очень понравилась, по той простой причине, что Онегину прежде всего было необходимо хоть чем-нибудь занять ту или другую пару форточек, то есть дать какую-нибудь работу или глазам, или ушам. А так как Ленский болтал восторженно и неудержимо, то, стало быть, участь онегинских ушей была вполне обеспечена.

Пушкин уверяет нас, что беседы этих двух мыслителей были чрезвычайно разнообразны.

Меж ними все рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь в свою чреду,
Все подвергалось их суду.

(Гл. II. Стр. XVI)

В этих беседах могли бы обнаружиться и особенности геттингенской души и охлажденность онегинского ума; в этих беседах могли бы обрисоваться со всех сторон политические, нравственные и всякие другие убеждения Онегина и Ленского; но, к сожалению, в романе не представлено ни одной такой беседы, и вследствие этого мы имеем полное право крепко сомневаться в том, имелись ли у этих двух праздношатающихся джентльменов какие-нибудь убеждения.

Читатели мои, по всей вероятности, знают и помнят очень хорошо, что Пушкин в «Евгении Онегине» рассуждает чрезвычайно пространно о всевозможных предметах, очень мало относящихся к делу: тут и дамские ножки, и сравнение *аи* с *бордо*, и негодование против альбомов петербургских дам, и соображения о том, что наше северное лето — карикатура южных зим, воспоминания о садах лица, и многое множество других вставок и украшений. А между тем когда нужно решить действительно важный вопрос, когда надо показать, что у главных действующих лиц были определенные понятия о жизни и о междучеловеческих отношениях, тогда наш великий поэт отделяется коротким и совершенно неопределенным намеком на какие-то разнообразные беседы, которые будто бы рождали споры и влекли к размышлению. Один такой спор, очевидно, охарактеризовал бы Онегина несравненно полнее, чем десятки очень милых, но совершенно ненужных подробностей о том, как он играл на бильярде тупым кием, как он садился в ванну со льдом, в котором часу он обедал и так далее. Ни одного такого спора мы не видим в романе. И это еще не все. Пушкин упоминает о разнообразных беседах в XVI строфе II главы, а в XV строфе он сообщает нам такие подробности, которые, быть может, делают величайшую честь нежности онегинского сердца, но которые в то же время совершенно уничтожают возможность серьезных споров, влекущих к размышлению.

Поэта гулкий разговор,
И ум, еще в сужденьях зыбкой,
И вечно вдохновенный взор —
Онегину все было ново;
Он охладительное слово
В устах старался удержать
И думал: глупо мне мешать
Его минутному блаженству,
И без меня пора придет;
Пускай покамест он живет
Да верит мира совершенству.

Какой же дельный спор, какой же серьезный обмен мыслей возможен тогда, когда один из собеседников постоянно старается воздерживаться от охладительных слов и когда другой собеседник постоянно пылает, то есть постоянно нуждается в охлаждении? Если мы пересмотрим те предметы разговора, которые перечислены Пушкиным в XVI строфе, то мы немедленно убедимся в том, что споры об этих предметах были совершенно невозможны без охладительных слов со стороны Онегина. Если эти споры действительно влекли к размышлениям, то они должны были состоять почти исключительно в том, что Ленский фантазировал и предавался сладостному оптимизму, а Онегин произносил

разные печальные истины и охладительные слова. В самом деле, что их занимало? Во-первых, *племен минувших договоров*. Хотя это выражение очень неудачно и неясно, однако можно понять, что тут дело идет об исторических вопросах. Ясное дело, что Ленский, как идеалист и как поэт, должен был строить в области истории разные красивые и трогательные тенденции, а Онегин, как скептик, должен был разрушать эти построения охладительными аргументами. Если даже мы примем слово *договоры* в его точном и буквальном значении, то и тогда спор вряд ли обойдется без охладительных слов. Об Анталкидовом мире или о договоре Олега с греками можно, конечно, рассуждать совершенно безопасно и беспристрастно; но, по всей вероятности, друзья наши не забирались в такую глубокую древность; если же они беседовали о каком-нибудь договоре поновее, например о Священном союзе, или о Венском конгрессе, или о Карлсбадских конференциях, то Ленский с большим удобством мог предаваться неосновательным восторгам, против которых необходимо было действовать охладительными словами. Во-вторых — *плоды наук*. Тут все зависит от того, *какие* плоды. О математических сочинениях Эйлера или Лагранжа можно рассуждать без охладительных слов. Но если только друзья наши брали что-нибудь поживее, например систему мира Лапласа или теорию перерождений Ламарка, то охладительные слова становились неизбежными, потому что такие ученые, как Лаплас и Ламарк, разрушают очень многие заблуждения, весьма драгоценные для юных идеалистов и романтиков. А так как друзья наши вряд ли беседовали об аналитической геометрии и так как, по всей вероятности, они выбирали те *плоды науки*, которые, так или иначе, затрагивают общие вопросы мирозерцания, то, стало быть, и о *плодах науки* нельзя было спорить без охладительных слов. В-третьих — *добро и зло*, то есть основания нравственности. Тут столкновение противоположных убеждений совершенно неизбежно, и необходимость охладительных слов до такой степени очевидна, что нечего об этом и распространяться. В-четвертых — *предрассудки вековые*. Если происходил спор о вековых предрассудках, то этот спор мог принимать одну из двух главных форм: или Онегин считал какое-нибудь мнение за предрассудок, а Ленский доказывал его разумность; или же, наоборот, Ленский нападал на предрассудок, а Онегин его отстаивал. В первом случае Ленский, как юноша и поэт, брал под свое покровительство разные красивые иллюзии, которые Онегин, как человек, познакомившийся с жизнью, отрицал и осмеивал. Во втором случае Ленский, как юный и горячий представитель чистой теории, не склоняющейся ни на какие компромиссы, осуждал, с высоты своей идеи, разные мелкие слабости общества, которые Онегин, как опытный человек, считал извинительными или даже неизбежными. В том и в другом случае Онегину пришлось бы совершенно отказаться от спора, если бы он захотел воздерживаться от охладительных слов. В-пятых — *гроба тайны роковые*. Час от часу не легче. Если возможен какой-нибудь спор о *роковых тайнах гроба*, то этот спор может происходить только насчет бессмертия души. Между Онегиным и Ленским спор, без сомнения, должен был завязаться так, что Онегин отрицал, а Ленский утверждал. Начиная такой спор, Онегин, очевидно, затрагивал такой предмет, который составлял для юного идеалиста величайшую и неприкосновеннейшую драгоценность. Как бы мягко и осторожно Онегин ни выражался, во всяком случае уже тот факт, что он ставил знак вопросительный там, где Ленский ставил точку или знак восклицательный, — один этот факт, говорю я, должен был произвести на несчастного поэта гораздо более потрясающее впечатление, чем всевозможные охладительные слова. В-шестых — *судьба и жизнь*. Ну, это выражение так неясно и так растяжимо, что о нем нечего и говорить.

Подробный анализ тех высоких предметов, о которых разговаривали Онегин и Ленский, приводит меня к тому заключению, что они ни о каких высоких предметах не разговаривали и что Пушкин не имеет никакого понятия о том, что значит серьезный спор, влекущий к размышлению, и какое значение имеет для человека сознание и глубоко прочувствованное убеждение. Пушкину хотелось, чтобы Онегин в своих отношениях к Ленскому обнаруживал грациозную мягкость своего характера, и Пушкин, как человек, хорошо знакомый с грациозною мягкостью и совершенно незнакомый с убеждениями,

не сообразил того, что, навязывая своему герою это изящное свойство, он осуждал его на такую жалкую бесцветность, при которой возможны только прения о погоде, о достоинствах шампанского, да, пожалуй, еще о договорах Олега с греками. Если бы Онегин действительно имел какие-нибудь убеждения, то, подружившись с Ленским, он, именно из привязанности к нему, старался бы откровенно поделиться с ним своими взглядами на жизнь и разрушить дружескими разговорами те юношеские заблуждения, которые рано или поздно грубо и безжалостно разрушит презренная житейская проза. Но Онегин, по своей неразвитости и по совершенному отсутствию убеждений, соблюдает в отношении к Ленскому ту знаменитую политику скрывания и педагогического обмана, которую постоянно прилагают к своим питомцам все родители и воспитатели, отличающиеся теплотой чувств и ограниченностью ума.

Я уже показал выше, что при этой политике совершенно невозможны серьезные разговоры о предметах, вызывающих на размышление. И так как Пушкин нам действительно не сообщает ни одного подобного разговора, то мы имеем полное право утверждать, что Онегин и Ленский были совершенно неспособны к серьезным рассуждениям и что Пушкин, желая поставить их на пьедестал, упомянул мимоходом о разных высоких предметах, до которых ни ему самому, ни его героям никогда не было никакого дела. Договоры племен, вековые предрассудки, роковые тайны, все это — одни слова, к которым критик должен относиться с крайней недоверчивостью.

IV

Любопытно заметить, что грациозная мягкость изменяет Онегину именно тогда, когда она была необходима и когда охладительное слово было не только очень невежливо, но еще, кроме того, совершенно бесполезно. Вот каким образом Онегин рассуждает об Ольге, в которую, как ему известно, давно уже влюблен Ленский.

В чертах у Ольги жизни нет,
Точь-в-точь в Вандиковой Мадонне:
Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне.

(Гл. III. Стр. V)

Эта тирада, очевидно, была сказана только для того, чтобы полюбоваться насмешливою холодностью своего взгляда на природу и на жизнь. Ленскому эта грубая и бестолковая выходка против Ольги показалась очень неприятною, и, кроме этой, совершенно бесплодной неприятности, ровно ничего не вышло и не могло выйти из охладительного слова, произнесенного Онегиным ни к селу ни к городу, для услаждения собственного слуха.

<...>

Праздность Онегина так колоссальна, что он даже

Дома целый день —
Один, в расчеты погруженный,
Тупым кием вооруженный,
На бильярде в два шара
Играет с самого утра.

(Гл. IV. Стр. XLIV)

При таком бездействии мысли вранье на разные темы составляет, конечно, одно из лучших украшений жизни.

<...> [В дуэли Онегина с Ленским] читатель решительно не знает, кому отдать пальму первенства по части тупоумия — Онегину или Ленскому. Единственное возможное объяснение этого нелепейшего случая состоит в том, что оба они, Ленский и Онегин, совершенно ошалели от безделья и от мертвящей скуки. Онегину захотелось

взбесить Ленского и таким образом отмстить ему за то, что у Лариных на именины Татьяны собралось много гостей, между тем как Ленский говорил Онегину, что не будет никого из посторонних. Чтобы исполнить свое намерение, Онегин танцует с Ольгой, сначала вальс, потом мазурку, потом котильон. Во время танцев он,

Наклонясь, ей шепчет нежно
Какой-то пошлый мадригал
И руку жмет — и запыхал
В ее лице самолюбивом
Румянец ярче.

(Гл. V. Стр. XLIV)

<...>

Приехав домой после измены коварной Ольги, Ленский посылает Онегину

Приятный, благородный,
Короткий вызов, иль картель.

<...>

Разумеется, Онегин вполне оправдывает надежды своего достойного друга. Получивши «приятный, благородный, короткий вызов», он, как образцовый денди, не требует никаких дальнейших объяснений и отвечает приятно, благородно, коротко, «что он *всегда готов*». Секундант Ленского тотчас уезжает, а Онегин, «наедине с своей душой», начинает соображать, что эта душа наделала премного глупостей. Онегин недоволен сам собой. Пушкин говорит:

И поделом: в разборе строгом,
На тайный суд себя призвав,
Он обвинял себя во многом:
Во-первых, он уж был неправ,
Что над любовью робкой, нежной
Так подшутил вечер небрежно.
А во-вторых, пускай поэт
Дурачится: в восемнадцать лет
Оно простительно. Евгений,
Всем сердцем юношу любя,
Был должен оказать себя
Не мячиком предрассуждений,
Не пылким мальчиком-бойцом,
Но мужем с честью и с умом.

Он мог бы чувства обнаружить,
А не щетиниться, как зверь;
Он должен был обезоружить
Младое сердце. «Но теперь
Уж поздно; время улетело.
К тому ж, — он мыслит, — в это дело
Вмешался старый дуэлист;
Он зол, он сплетник, он речист.
Конечно, быть должно презренье
(Ценой его забавных слов;
Но шепот, хохотня глупцов...»
И вот общественное мненье!
Пружина чести, наш кумир!
И вот на чем вертится мир!

(Гл. VI, Стр. X, XI)

Евгений, как видите, любит юношу всем сердцем; кроме того, строгий разбор, произведенный на тайном суде совести, говорит ему, что муж с честью и с умом не стал бы щетиниться, как зверь, и не позволил бы себе стрелять в восемнадцатилетнего разыгравшего мальчика. На одну чашку весов Онегин кладет жизнь юноши, которого он любит всем сердцем, и, кроме того, здравые требования ума и чести, — те требования, которые

сформулированы строгим разбором тайного суда. На другую чашку Онегин кладет шепот и хохотню глупцов, которых натравит старый дуэлист и злой сплетник, достойный, по мнению самого же Онегина, самого полного презрения. Вторая чашка тотчас перетягивает, и догадливый читатель немедленно может составить себе очень наглядное понятие о том, как сильно умеет Онегин любить и как высоко ценит он свое собственное уважение. — Я должен убить моего друга, рассуждает Онегин, я должен оказаться перед тайным судом моей совести мужем без чести и без ума, я должен это сделать непременно, потому что, в противном случае, дураки, которых я презираю, будут шептать и смеяться.

Из этого процесса мысли мы видим ясно, что слова «друг», «совесть», «честь», «ум», «дураки», «презирать» — не имеют для Онегина никакого осязательного смысла. Как негр, задавленный непосильным трудом, тяжелыми лишениями и ежедневными побоями, теряет способность любить, ненавидеть, презирать и рассуждать, превращается в тупое выючное животное, способное только к пассивному повиновению и к машинальной работе из-под палки, так и Онегин, задавленный умственной пустотой и гнетом светских предрассудков, навсегда потерял силу и умение чувствовать, мыслить и действовать, не испрашивая на то соизволения у той толпы, которую он величественно презирает. Личные понятия, личные чувства, личные желания Онегина так слабы и вялы, что они не могут иметь никакого ощутительного влияния на его поступки. Поступит он во всяком случае так, как того потребует от него светская толпа; он даже не подождет, чтобы эта толпа выразила ясно свое требованье; он его угадает заранее; он, с утонченной угодливостью раба, воспитанного в рабстве с колыбели, предупредит все желания этой толпы, которая, как избалованный властелин, разумеется даже и внимания не обратит на то, какими усилиями и жертвами ее верный раб, Онегин, купил себе право оставаться в ее глазах джентльменом самой безукоризненной бесцветности. И толпа поступает совершенно справедливо, когда не обращает внимания на усилия и жертвы верного раба; верный раб верен только потому, что не смеет сделаться неверным; он боится своего господина и в то же время вместе с другими, столь же трусливыми и верными рабами, ежеминутно ругает его за глаза, подобно тому как это делают все лакеи, проникнутые духом лакейства до мозга костей. Этой лакейской замашкой ругать за глаза строгого господина объясняется то презрение к толпе, которым драпируется Онегин. Это красивое презрение — чувство совершенно платоническое; оно целиком улетучивается в словах; как только приходится действовать, так это презрение сменяется тотчас самым плоским и раболепным благоговением.

Спрашивается теперь, каким образом должен был отнестись поэт к этой черте в характере Онегина? Мне кажется, он должен был понять весь глубокий комизм этой черты, он должен был всеми силами своего таланта подметить и разработать в этой черте все ее смешные стороны, он должен был осмеять, опошлить и втоптать в грязь без малейшего сострадания ту низкую трусость, которая заставляет неглупого человека играть роль вредного идиота для того, чтобы не подвергнуться робким и косвенным насмешкам настоящих идиотов, достойных полного презрения. Поступая таким образом, поэт оказал бы действительную и серьезную услугу общественному самосознанию; он бы заставил толпу смеяться над теми формами тупоумия и безличности, на которые она, по своей недогадливости и инерции мысли, привыкла смотреть не только равнодушно, но даже благосклонно.

Так ли поступил Пушкин? Нет, он поступил как раз наоборот. В своем взгляде на положение Онегина он сам оказался человеком светской толпы и употребил все силы своего таланта на то, чтобы из мелкого, трусливого, бесхарактерного и праздношатающегося франтика сделать трагическую личность, изнемогающую в борьбе с непреодолимыми требованиями века и народа. Вместо того чтобы сказать читателю: как пуст, смешон и ничтожен мой Онегин, убивающий своего друга в угоду дуракам и негодьям, Пушкин говорит: «и вот на чем вертится мир», точно будто бы отказаться от бессмысленного вызова — значит нарушить мировой закон.

Возвышая, таким образом, в глазах читающей массы те типы и те черты характера, которые сами по себе низки, пошлы и ничтожны, Пушкин всеми силами своего таланта усыпляет то общественное самосознание, которое истинный поэт должен пробуждать и воспитывать своими произведениями. Сваливая на общие причины, на неумолимую судьбу и на мировые законы вину позорных ошибок, от которых каждый умный и энергичный человек может уберечься силами своей собственной личности, Пушкин оправдывает и поддерживает своим авторитетом робость, беспечность и неповоротливость индивидуальной мысли. Он подавляет личную энергию, обезоруживает личный протест и укрепляет те общественные предрассудки, которые каждый мыслящий человек обязан разрушить всеми силами своего ума и всем запасом своих знаний. «И вот на чем вертится мир!» Как вам нравится это наивное признание Пушкина, что для него весь мир сосредоточивается в тех малочисленных кружках фешенебельного общества, в которых люди, обожающие «пружину чести», из благоговения к этой пружине стреляются с своими друзьями, против собственного желания и против собственного убеждения?

Сделавши замечательное открытие, что мир вертится на пружине чести, Пушкин далеко превосходит Людовика-Филиппа, придумавшего остроумное выражение «le pays legal»¹ для обозначения тех французов, которые пользовались правом голоса на выборах депутатов. У Людовика-Филиппа огромное большинство французов остается за пределами законной Франции, а у Пушкина огромное большинство людей остается за пределами существующего мира, — что, без сомнения, гораздо более остроумно.

V

Онегин остается ничтожнейшим пошляком до самого конца своей истории с Ленским, а Пушкин до самого конца продолжает воспевать его поступки как грандиозные и трагические события. Благодаря превосходному рассказу нашего поэта читатель видит постоянно не внутреннюю дрянность и мелкость побуждений, а внешнюю красоту и величавость хладнокровного мужества и безукоризненного джентльменства.

Хладнокровно,
Еще не целя, два врага
Походкой твердой, тихо, ровно
Четыре перешли шага,
Четыре смертные ступени.
Свой пистолет тогда Евгений,
Не преставаая наступать,
Стал первый тихо подымать.

Вот пять шагов еще ступили,
И Ленский, жмурия левый глаз,
Стал также целить, но как раз
Онегин выстрелил... Пробили
Часы урочные: поэт
Роняет молча пистолет,
На грудь кладет тихонько руку
И падает.

(Гл. VI. Стр. XXX, XXXI)

Господи, как красиво! Люди переходят *твердую походкою, тихо, ровно* четыре шага, *четыре смертные ступени*. Два человека без всякой надобности идут на смерть и смотрят ей в глаза, не обнаруживая ни малейшего волнения. Так это красиво и так это старательно воспето, что читатель, замирая от ужаса и преклоняясь перед доблестями храбрых героев, даже не осмелится и не сумеет подумать о том, до какой степени глупо все это происшествие и до какой степени похожи величественные герои, соблюдающие

¹ Легальная, законная страна (франц.).

твердость и тишину походки, на жалких дрессированных гладиаторов, тративших всю свою энергию на то, чтобы в предсмертных муках доставить удовольствие зрителям красивой позитурой тела. А между тем эти зрители были злейшими врагами гладиаторов, и если бы гладиаторы направили свою энергию не на красивые позы, а на тупоумных любителей этих поз, то легко могло бы случиться, что они навсегда избавили бы себя от печальной необходимости тешить праздных дураков красивыми позами. Надо полагать, что гладиаторы были очень глупы и что глупость их, к сожалению, не умерла вместе с ними. Но, кроме общей гладиаторской глупости, поведение Онегина в сцене дуэли заключает в себе еще свою собственную, совершенно специальную глупость или дрянность, которая до сих пор, сколько мне известно, была упущена из виду самыми внимательными критиками. То обстоятельство, что он принял вызов Ленского и явился на поединок, еще может быть до некоторой степени объяснено, хотя, конечно, не оправдано, — влиянием светских предрассудков, сделавшихся для Онегина второю природою. Но то обстоятельство, что он, «всем сердцем юношу любя» и сознавая себя кругом виноватым, *целил* в Ленского и убил его, может быть объяснено только или крайним малодушием, или непостижимым тупоумием. Светский предрассудок обязывал Онегина идти навстречу опасности, но светский предрассудок нисколько не запрещал ему выдержать выстрел Ленского и потом разрядить пистолет на воздух. При таком образе действий и волки были бы сыты, и овцы были бы целы. Репутация храбрых гладиаторов была бы спасена; Ленский, вполне удовлетворенный и обезоруженный, пригласил бы Онегина быть шафером на его свадьбе, а Онегин, сказавший Ольге пошлый мадригал и *оказавший себя мячиком предрассуждений*, за все эти продерзости был бы наказан тем неприятным ощущением, которое доставляет каждому порядочному человеку созерцание пистолетного дула, направленного прямо на его собственную особу. Конечно, Ленский мог убить или тяжело ранить Онегина, которому в таком случае не пришлось бы быть шафером на предстоящей свадьбе, но эта перспектива нисколько не должна была конфузить Онегина, если только он действительно был утомлен жизнью и совершенно искренно тяготился ее пустотою. Онегин не должен был колебаться ни одной минуты, когда ему надо было решать на практике вопрос: кому жить, ему или Ленскому? Он ни на одну минуту не должен был ставить свою собственную, опротивевшую ему жизнь на одну доску с свежою жизнью влюбленного юноши. Однако он поступил как раз наоборот. Он первый стал поднимать свой пистолет и выстрелил именно в то самое время, когда Ленский начал прицеливаться. Почему же он это сделал? Или потому, что не сообразил заранее, *как* ему следовало распорядиться, или же потому, что чувство самосохранения одержало верх над всеми предварительными соображениями. Первое предположение очень неправдоподобно; сообразить было не мудрено; если Онегин не умеет подумать даже тогда, когда от его размышлений зависит жизнь юноши, которого он любит всем сердцем, то, значит, он совсем неспособен шевелить мозгами. С этим трудно согласиться, хотя, разумеется, умственные способности Онегина очень неблистательны и совершенно испорчены бездействием. — Остается второе предположение, которое, по моему мнению, совершенно основательно. Онегин, несмотря на свое хроническое зевание и несмотря на свою замашку ругать жизнь всякими скверными словами, очень любит эту самую жизнь и никак не согласится променять ее не только на «покой небытия», но даже и на какую-нибудь другую жизнь, более разумную и более деятельную. Умирать ему совсем не хочется, потому что как ни ругай нашу юдоль бедствий, а все-таки в этой юдоли есть для богатого собственника и устрицы, и гомары¹, и бордо, и клико, и прекрасный пол. Устроить себе какую-нибудь новую жизнь ему также совсем не хочется, потому что ни для какой другой жизни он не годится. Он с своею вечною скукою может прожить очень спокойно, приятно и комфортабельно лет до восьмидесяти, и когда Ленский стал целиться, тогда Онегин смекнул

¹ То есть омары.

в одну секунду, что милую скуку позволительно ругать и проклинать, но что с нею вовсе не следует расставаться преждевременно.

Пушкин так красиво описывает мелкие чувства, дрянные мысли и пошлые поступки, что ему удалось подкупить в пользу ничтожного Онегина не только простодушную массу читателей, но даже такого замечательного человека и такого тонкого критика, как Белинский. «Мы, – говорит Белинский, – нисколько не оправдываем Онегина, который, как говорит поэт, был должен оказать себя не мячиком предрассуждений, не пылким мальчишкой-бойцом, но мужем с честью и умом; но тирания и деспотизм светских и житейских предрассудков таковы, что требуют для борьбы с собою героев. Подробности дуэли Онегина с Ленским — верх совершенства в художественном отношении».

И это все! Хорош приговор. Он не оправдывает Онегина, а между тем тут же утверждает, что только герой на месте Онегина поступил бы иначе. Значит, вполне оправдывает, потому что мы не имеем никакого права требовать от обыкновенных людей таких подвигов нравственного мужества, которые превышают средний уровень обыкновенных человеческих сил. Но разве ж это правда? Разве в самом деле надо быть героем, чтобы уметь любить своего друга и чтобы не убивать собственноручно, из низкой трусости, тех людей, которых мы любим всем сердцем? Высказывая ту дикую мысль, что эти отрицательные подвиги доступны только героям, Белинский унижает человеческую природу и без всякой надобности является защитником нравственной гнилости и тряпичности. А вводит его в этот тяжелый грех его крайняя впечатлительность, подкупленная тем обстоятельством, что «подробности дуэли Онегина с Ленским — верх совершенства в художественном отношении». Если бы Белинский потрудились задать себе вопрос, на что потрачено это художественное совершенство и к чему оно клонится, то он немедленно убедился бы в том, что за такие художественные фокусы надо не превозносить, а строго порицать поэта.

После смерти Ленского Онегин отправляется странствовать по России, везде хмурится и пищит, везде смотрит с бессмысленным презрением на занятия суетной толпы и, наконец, доходит до такой нелепости, что начинает завидовать больным, которых он видит на кавказских минеральных водах.

Питая горьки размышленья,
Среди печальной их семьи,
Онегин взором сожаленья
Глядит на дымные струи
И мыслит, грустью отуманен:
Зачем я пулей в грудь не ранен?
Зачем не хилый я старик,
Как этот бедный откупщик?
Зачем, как тульский заседатель,
Я не лежу в параличе?
Зачем не чувствую в плече
Хоть ревматизма? Ах, создатель!
Я молод, жизнь во мне крепка;
Чего мне ждать! Тоска, тоска!

Размышления Белинского по поводу этих бессмысленных жалоб чрезвычайно любопытны; они дают нам самое наглядное понятие о глубокой искренности нашего великого критика, о его необыкновенной правдивости и о его изумительной способности принимать за чистую монету каждое человеческое слово, даже такое, в котором очень нетрудно распознать самую грубую ложь и самое нахальное шарлатанство. «Какая жизнь! – восклицает Белинский. – Вот оно, то страдание, о котором так много пишут и в стихах и в прозе, на которое столь многие жалуются, как будто и в самом деле знают его; вот оно, страдание истинное, без котурна, без ходуль, без драпировки, без фраз, страдание, которое часто не отнимает ни сна, ни аппетита, ни здоровья, но которое тем ужаснее!.. Спать ночью, зевать днем, видеть, что все из-за чего-то хлопочут, чем-то заняты, один —

деньгами, другой — женитьбою, третий — болезнью, четвертый — нуждою и кровавым потом работы, — видеть вокруг себя и веселье, и печаль, и смех, и слезы, видеть все это и чувствовать себя чуждым всему этому, подобно Вечному жиду, который среди волнующейся вокруг него жизни сознает себя чуждым жизни и мечтает о смерти, как о величайшем для него блаженстве; это страдание не всем понятное, но оттого не меньше страшное. Молодость, здоровье, богатство, соединенные с умом, сердцем; чего бы, кажется, больше для жизни и счастья? Так думает тупая чернь и называет подобное страдание модною причудою».

<...>

Онегин скучает, как толстая купчиха, которая выпила три самовара и жалеет о том, что не может выпить их тридцать три. Если б человеческое брюхо не имело пределов, то онегинская скука не могла бы существовать. Белинский любит Онегина по недоразумению, но со стороны Пушкина тут нет никаких недоразумений.

VI

Теперь я начинаю разбирать характер Татьяны и ее отношения к Онегину.

<...>

Онегин во все продолжение романа был у Лариных три раза. В первый раз тогда, когда Ленский его представил и когда их обоих угощали вареньем и брусничного водою. Во второй раз тогда, когда он получил письмо Татьяны. И в третий раз на именинах Татьяны. Передавая Онегину приглашение Лариных на именины, Ленский говорит ему:

«А то, мой друг, суди ты сам:
Два раза заглянул, а там
Уж к ним и носу не покажешь».

Значит, до именин было действительно *только два* визита, и мы не имеем никакой возможности предполагать, чтобы некоторые визиты Онегина были пройдены молчанием в романе. Значит, Татьяна влюбилась в Онегина *сразу* и решила к нему написать письмо, проникнутая самою страстною нежностью, видевши его всего только один раз. Но что же такое произошло во время этого первого свиданья? В каких поступках, в каком разговоре обнаружились обаятельные особенности онегинского ума и характера?

Если бы «Евгений Онегин» был сочинен мною, то, может быть, я был бы в состоянии отвечать на эти вопросы, которые неизбежно должны возникнуть в уме каждого внимательного читателя, неспособного удовлетворяться одною звучностью и плавностью стиха. Но так как я неповинен в сочинении «Евгения Онегина», то в ответ на эти неизбежные вопросы я могу только выписать рассказ об этом первом визите, погубившем прелестную Татьяну во цвете юных лет.

Поскакали други,
Явились; им расточены
Порой тяжелые услуги
Гостеприимной старины.
Обряд известный угощенья:
Несут на блюдечках варенья,
На столик ставят вощаной
Кувшин с брусничною водою.

(Гл. III. Стр. III.)

Затем следует пять строк точек, а потом «они дорогой самой краткой домой летят во весь опор». Летя домой, они разговаривают между собою, и из их разговора мы узнаем, что Онегин выпил некоторое количество брусничной воды и боится от нее дурных последствий. Пожаловавшись на брусничную воду, Онегин спрашивает: «скажи, которая Татьяна?» — Ленский отвечает:

«Да та, которая грустна

И молчалива, как Светлана,
Вошла и села у окна».

Знакомство было, очевидно, самое поверхностное, когда Онегин даже не знает, «*которая Татьяна*». Легко может быть, что Онегин не сказал с Татьяною ни одного слова; это обстоятельство тем более правдоподобно, что Ленский называет Татьяну молчаливой; по всей вероятности, разговором владела постоянно старуха Ларина; Онегин, на возвратном пути, говорит о ней:

«А кстати: Ларина проста,
Но очень милая старушка».

Значит, он только об одной старухе и успел составить себе довольно определенное понятие. А в разговоре с *простою* старухой он, очевидно, не мог высказать ничего такого замечательного, что оправдывало бы или объясняло бы возникновение внезапного и страстного чувства в душе умной и рассудительной девушки. Как бы то ни было, результатом первого, совершенно поверхностного знакомства Татьяны с Онегиным оказалось то знаменитое письмо, которое Пушкин *свято бережет и читает с тайною тоскою*.

<...>

Онегину очень понравилось сумасбродное письмо фантазирующей барышни.

...Получив посланье Тани,
Онегин живо тронут был:
Язык девических мечтаний
В нем думы роем возмутил;
И вспомнил он Татьяны милой
И бледный цвет и вид унылый;
И в сладостный, безгрешный сон
Душою погрузился он.

(Гл. IV. Стр. XI.)

Онегину представлялась возможность расположить свои отношения к Татьяне по одному из четырех следующих планов: во-первых, он мог на ней жениться; во-вторых, он, в своем объяснении с нею, мог осмеять ее письмо; в-третьих, он, в этом же объяснении, мог деликатно отклонить ее любовь, наговоривши ей при сем удобном случае множество любезностей насчет ее прекрасных качеств; в-четвертых, он мог поиграть с нею, как кошка играет с мышкою, то есть мог измучить, обесчестить и потом бросить ее.

Жениться Онегин не хотел, и он сам очень наивно объясняет Татьяне причину своего нежелания: «Я, сколько ни любил бы вас, привыкнув, разлюблю тотчас». Соблазнять ее он тоже не желает, отчасти потому, что он не подлец, а отчасти и потому, что это дело ведет за собою слезы, сцены и множество неприятных хлопот, особенно когда действующим лицом является такая энергическая и восторженная девушка, как Татьяна. В онегинские времена уровень нравственных требований стоял так низко, что Татьяна, вышедши замуж, в конце романа считает своею обязанностью благодарить Онегина за то, что он поступил с нею благородно. А все это благородство, которого Татьяна никак не может забыть, состояло в том, что Онегин не оказался в отношении к ней вором. — Итак, два плана, первый и четвертый, отвергнуты. Второй план для Онегина неосуществим; осмеять письмо Татьяны он не в состоянии, потому что он сам, подобно Пушкину, находил это письмо не смешным, а трогательным. Насмешка показалась бы ему профанацией и жестокостью, потому что ни Онегин, ни Пушкин не имеют понятия о той высшей и вполне сознательной гуманности, которая очень часто заставляет мыслящего человека произнести горькое и оскорбительное слово. Такое слово обожгло бы Татьяну, но оно было бы для нее несравненно полезнее, чем все сладости, рассыпанные в речи Онегина. Но время Онегина не было временем той *gottliche Grobheit*,¹ которую совершенно справедливо превозносит Берне. Онегин решился поднести Татьяне золоченую пилюлю, которая

¹ Божественная грубость (нем.).

не могла подействовать на нее благотворно именно потому, что она была позолочена. Речь Онегина, занимающая в романе пять строф, вся целиком, как будто нарочно, направлена к тому, чтобы еще больше закружить и отуманить бедную голову Татьяны. «Я, – говорит Онегин, –

прочел
 Души доверчивой признанья,
 Любви невинной излиянья;
 Мне ваша искренность мила (тон довольно султанский!);
 Она в волненье привела
 Давно умолкнувшие чувства».

С самого начала Онегин делает грубую и непоправимую ошибку; он принимает любовь Татьяны за действительно существующий факт; а ему, напротив того, надо было сказать и доказать ей, что она его совсем не любит и не может любить, потому что с первого взгляда люди влюбляются только в глупых романах.

«Когда б семейственной картиной (продолжает Онегин)
 Пленялся я хоть миг единой,
 То верно б, кроме вас одной,
 Невесты не искал иной».

Это все за бестолковое письмо; разумеется, после этих слов сама Татьяна будет смотреть на свое послание как на образцовое произведение, отразившее в себе самое неподдельное чувство, самый замечательный ум. Эти лестные и, к сожалению, искренние слова Онегина должны подействовать на бедную Татьяну так, как подействовала на несчастного Дон-Кихота его победа над цирюльником и завоевание медного таза, который немедленно был переименован в шлем Мамбриня. Добывши себе трофей, Дон-Кихот, очевидно, должен был утвердиться в том печальном заблуждении, что он действительно странствующий рыцарь и что он действительно может и должен совершать великие подвиги. Выслушав комплименты Онегина, Татьяна точно так же должна была утвердиться в том, столь же печальном, заблуждении, что она очень влюблена, очень страдает и очень похожа на несчастную героиню какого-нибудь раздирательного романа. Каждое дальнейшее слово Онегина подносит несчастному Дон-Кихоту новые шлемы Мамбриня. Онегин объявляет своей собеседнице «без блесков мадригальных», что он нашел в ней свой «прежний идеал», но что, к крайнему своему сожалению, он, по дряблости своего сердца, никак не может воспользоваться этой приятной находкой:

«Напрасны ваши совершенства:
 Их вовсе недостоин я.

 И того ль искали
 Вы чистой, пламенной душой,
 Когда с такою простотой,
 С таким умом ко мне писали?

 Я вас люблю любовью брата,
 И, может быть, еще нежней».

Длинный хвалебный гимн Онегина заканчивается плоским и бесцветным нравоучением, которое находится в непримиримом разладе со всеми предыдущими комплиментами и которое вследствие этого, разумеется, будет пропущено Татьяною мимо ушей:

«Учитесь властвовать собою,
 Не всякий вас, как я, поймет:
 К беде неопытность ведет».

<...>

Онегин встречается с нею [Татьяной] в Петербурге в то время, когда она, драпируясь в свою неприкосновенность, уже украшает своею добродетельною особою жилище толстого генерала. Видя, что украшение генеральского дома блестит самыми яркими

красками, Онегин проникается предосудительным желанием вытащить это украшение из-под стеклянного колпака. Но украшение не трогается с места и, оставаясь под колпаком, читает оттуда предприимчивому денди такую проповедь, которая доставляет ему очень мало удовольствия. <...>

Этот монолог доказывает ясно, что Татьяна и Онегин — друг друга стоят; оба они до такой степени исковеркали себя, что совершенно потеряли способность думать, чувствовать и действовать по-человечески. <...> Онегин — вполне достойный рыцарь такой дамы, которая сидит под стеклянным колпаком и обливается горячими слезами; другого, более энергического чувства Онегин даже не выдержал бы; такое чувство испугало и обратило бы в бегство нашего героя; безумная и несчастная была бы та женщина, которая из любви к Онегину решилась бы нарушить величественное благочиние генеральского дома. Сам Онегин, вероятно, отшатнулся бы от нее, как от неистовствующей фурии, и уже во всяком случае Онегин поступил бы с нею по той программе, которую он наивно раскрыл перед Татьяною в липовой аллее, то есть, *привыкнув, разлюбил бы тотчас*. Стоит же, в самом деле, затевать в генеральском доме скандал для того, чтобы доставить Онегину несколько приятных минут и попользоваться его благосклонностью до тех пор, пока он не привыкнет!

Татьяна задает Онегину вопрос: отчего вы меня не полюбили прежде, когда я была лучше и моложе и когда я любила вас? Этот вопрос поставлен очень удачно, и если бы Онегин хотел и умел отвечать на него совершенно искренно, то ему пришлось бы сказать: оттого, что люди, подобные мне, способны только шутить и забавляться с женщинами. Когда вы были девушкою, тогда мне предстояла необходимость принять на себя в отношении к вам серьезные обязанности; мне надо было тогда взять на себя заботу о вашем счастье, то есть об удовлетворении всех ваших материальных и умственных потребностей; раз принявши на себя эту заботу, я бы уже не имел возможности сложить ее на кого-нибудь другого; а такая перспектива приводила меня в ужас, потому что я не способен ни к какому серьезному делу, не способен даже заботиться о материальном и умственном благосостоянии той женщины, которая доставляет мне приятные минуты. Теперь дело совсем другое. Теперь я могу завести с вами веселую интрижку, с таинственными свиданьями, с пламенными объятиями и без всяких будничных, то есть серьезных и спокойно-дружеских, отношений. Эта интрижка будет продолжаться месяцев пять-шесть, и потом я засвидетельствую вам мое почтение, не обращая никакого внимания на то, любите ли вы меня или нет.

Когда Онегин писал к Татьяне страстные письма и когда он, у нее в доме, бросился к ее ногам, тогда он, разумеется, добивался только интрижки. Пушкину представлялся очень удобный случай измерить глубину и силу онегинской любви, но Пушкин, конечно, не воспользовался этим случаем, потому что он не имел ни малейшего желания выставлять напоказ самые мелкие и дрянные стороны онегинского характера. Это полное разоблачение ничтожной личности было бы неизбежно, если бы на месте Татьяны стояла энергическая женщина, любящая Онегина действительно, а не придуманною любовью. Если бы эта женщина бросилась на шею к Онегину и сказала ему: я твоя на всю жизнь, но, во что бы то ни стало, увези меня прочь от мужа, потому что я не хочу и не могу играть с ним подлую комедию, — тогда восторги Онегина в одну минуту охладели бы очень сильно. Может быть, он посовестился бы обнаружить сразу всю свою трусость, всю свою несостоятельность перед серьезною заботою; может быть, он не осмелился бы отшатнуться тотчас от женщины, перед которою он за минуту перед тем сам стоял на коленях; может быть даже, чувствуя невозможность отступления, он решился бы, скрепя сердце, увезти эту женщину куда-нибудь за границу; но между невольным похитителем и несчастною жертвою завязались бы немедленно такие скрипучие и мучительные отношения, которых бы не выдержала ни одна порядочная женщина. Дело кончилось бы тем, что она убежала бы от него, выучившись презирать его до глубины души; и, разумеется, бедной, опозоренной женщине пришлось бы или умереть в самой

ужасной нищете, или втянуться поневоле в самый жалкий разврат. Если бы Пушкин захотел и сумел написать такую главу, то она, мне кажется, обрисовала бы онегинский тип ярче, полнее и справедливее, чем обрисовывает его теперь весь роман. Но для того, чтобы подвергнуть онегинский тип такому жестокому и вполне заслуженному унижению, самому Пушкину, очевидно, было необходимо стоять выше этого типа и относиться к нему совершенно отрицательно.

<...>